



В. ВЕЙДЛЕ

О Блоке

Смерть Блока много комментировали. Комментировать легко. Для этого не нужно ни чувствовать, ни видеть: достаточно владеть пером. Я прочел две статьи в сборнике «Об Александре Блоке». Нигде не выражено так ярко самодовольство теоретического человека, которому все безразлично, кроме слов и схем и придуманной им «точки зрения». И хотя ни «Судьба Блока» Б. М. Эйхенбаума, ни «Блок и Гейне» Ю. Н. Тынянова вообще ни в чем меня не убедили, но едва ли не меньше всего я убежден в неуместности даже «сентиментальных» слез и даже «заранее готовой» печали по поводу смерти Блока. Наоборот, я думаю, что по этому поводу самые сентиментальные слезы лучше некоторых несентиментальных рассуждений, и я предпочитаю крупницу безрассудной любви самому остроумному теоретизированию.

Если Б. М. Эйхенбаум, которого я привык уважать, считает возможным подвергнуть немедленному обсуждению моральность некоторых поступков Блока, то пусть это останется на его совести. Если Ю. Н. Тынянов сравнивает Блока с уличным певцом, которому Боратынский в одном стихотворении предлагает «опрокинуть свой треножник»¹, то пусть это послужит характеристике его вкуса. Но и в той, и в другой статье я нахожу такую противоестественную безжизненность, такое странное отсутствие какого-то всем доступного чувства, что я не могу не остановиться на этом подробнее.

И прежде всего оба автора стараются искусственно и сложно объяснить такой простой факт, как горе, причиненное многим смертью Блока. Ю. Н. Тынянов утверждает, что эти люди скорбят не о поэте Александре Блоке, а о воображаемом лирическом

герое², созданном — на основании известного разряда стихотворений Блока — довольно вульгарной фантазией некоторых его читателей или лучше читательниц. Но в этом позволительно усомниться. И конечно, за всякой поэзией (хотя Ю. Н. Тынянов думает иначе) «представляется человеческое лицо», но чтобы за поэзией Блока представлялся этот условный и романтический призрак, нельзя счесть ни обязательным, ни вечным. Если кто-нибудь полюбил «только это лицо, а не искусство» Блока — тем хуже для него. Но я знаю других, полюбивших поэзию Блока и с ней вместе его подлинное человеческое лицо, никогда ни от какой поэзии не отделимое: может быть, их не так много, но именно о них справедливо скажет история, что это — вся Россия.

Еще более удивительны комментарии, которыми спешит поделиться мою скорбь В. М. Эйхенбаум. Он истолковывает ее скорей как некоторое удовлетворение, правда «трагическое», но, конечно, не лишенное приятности. Дело в том, что Блок, так сказать, «умирал» еще задолго до «Седого утра», а из этого сборника вместе с г. Сергеем Бобровым можно было окончательно вывести, что «Блока больше нет». Вы подготовлены, милостивые государи, и если теперь его действительно нет, то не стоит ни удивляться, ни даже печалиться! И правда, в пятом акте показалась настоящая кровь и настоящая смерть, но ведь вы убедились в ее внутренней необходимости, самые тайные судьбы Блока после объяснений В. М. Эйхенбаума для вас уже не тайна, вся его душа от начала до конца у вас как на ладони, друзья мои, и если вы не аплодируете, то это, в сущности, предрассудок.

К счастью, мы не совсем онемели от такого хода мыслей, мы оказались немножко менее смелы, чем от нас ожидали, и хоть я тоже думаю, что в молчании Блока за последние годы была тайна и трагедия, но вот и все, что я пока согласен констатировать, и если бы я захотел узнать больше, мне следовало бы запастись некоторым благоговением, некоторой священной робостью и, главное, не торопиться.

Но мы еще не исчерпали аргументацию В. М. Эйхенбаума, он более документирован, чем мы думаем, и это позволяет ему утверждать, что смерть Блока (скажем — поэтическая) является возмездием за некоторую «измену искусству». Тут я окончательно поражен. Я знаю В. М. Эйхенбаума как историка литературы, но ведь первая заповедь историко-литературного исследования состоит в том, чтобы судить о поэте по его стихам, а не по другим его делам, писаниям и мнениям. Однако именно на таком материале строится изложение постепенного «умира-

ния» и конечной «измены» Блока. Тогда я отказываюсь верить. Пусть мне говорят, что с 1911 года начинается для Блока «разрыв между проблемой миссионерства и проблемой мастерства», — ведь это только «проблемы», а мастерство Блока именно после 1911 года достигает своего высшего расцвета. Пусть Б. М. Эйхенбаум доходит даже до следующего замечательного утверждения: «Когда художник говорит об обязанности, он изменяет искусству». Я все-таки знаю, что поэт изменяет искусству, когда пишет плохие стихи, а не когда говорит об обязанности или о чем бы то ни было. Он даже больше всего изменяет искусству, когда думает только о том, как бы не изменить ему. Пушкин думал больше о г-же Ризнич, чем о четырехстопном ямбе, когда писал «Для берегов отчизны дальней»: вот почему четырехстопный ямб так совершенен в этом стихотворении. Достоевский очень много думал обо всяких обязанностях и очень мало об искусстве, когда писал «Братьев Карамазовых», вот почему «Братья Карамазовы» такое совершенное произведение искусства. Но когда г. Георгий Иванов писал «Сады», он думал больше всего о совершенстве и изяществе своих стихов и вот почему они для меня так безразличны³.

Но это отступление. Мне важно одно: только в том случае все рассуждения об умирании и измене имели бы какой-нибудь смысл или оправдание, если бы Блок к концу жизни стал писать плохие и недостойные его стихи. Все знают, что этого не случилось. Он тогда издал два сборника своих старых стихов, и пожалеть об этом было бы лицемерием. Что бы ни думал г. С. Бобров⁴, в «Седом утре» есть несколько стихотворений, равных которым нам не удастся найти даже в самых лучших из вышедших за последнее время сборников. И хоть поэтому должно было бы быть ясно даже самым теоретическим людям, что оплакивают в смерти Блока. Оплакивают непоправимую утрату подлинного поэта. Этого достаточно. Пусть в последние годы он не писал больше стихов, но самая мысль о том, что одновременно со мной в России живет Александр Блок, была для меня утешением и отрадой. Он умер. Мое горе не нуждается в истолковании.

Впрочем, может быть, для авторов разбираемых статей все это не так бесспорно. При поверхностном чтении может показаться, будто для них чего-то слишком много в поэзии Блока и

чего-то слишком мало. Можно подумать, что они противопологают искусству Блока какое-то другое искусство. — Эта иллюзия быстро рассеивается.

В самом деле, Ю. Н. Тынянов называет поэзию Блока «эмоциональной»; мне это даже нравится, но мне никак не удается поверить в существование какой бы то ни было неэмоциональной поэзии, а она-то и противопологается поэзии Блока⁵. Если бы еще мне ее показали, но мне только о ней рассказывают, и этого мне мало. Я узнаю, правда, что существует словесный гротеск, что есть поэзия чистого слова, что бывает непредметный, неэмоциональный, чисто словесный образ, но так как я никогда не видел этих интересных вещей, то мне трудно их себе представить и легко в них усомниться. Я узнаю еще, что мелодрама — самый эмоциональный вид драмы, хотя я думал до сих пор, что ее эмоциональность лишь качественно своеобразна. Все это мало объясняет мне неэмоциональную поэзию.

Во всяком случае, я не нахожу ее у Гейне. Ведь если Гейне уничтожает предметную образность, если он ради диссонанса «разрушает конец стихотворения», то чего же он ищет в обоих случаях, как не чисто эмоционального эффекта? Мнение Ю. Н. Тынянова на этот счет не может быть противоположным; оно непонятно. И когда он не находит у позднего Гейне ничего другого, кроме «самодовлеющего словесного искусства», — я вижу, что он не понял Гейне, но я не вижу, что такое это искусство. При таких условиях сопоставление Блока с Гейне — иллюзорно, и мне предлагают взамен поэзии Блока не чью-нибудь другую поэзию, что могло бы иметь некоторый смысл; мне предлагают несколько малосодержательных терминов. Не следует ожидать, чтобы я согласился на такую мену. Даже если поэзия Блока не так хороша, как мне кажется, она все-таки существует, тогда как я принужден отказать поэзии, конструируемой Ю. Н. Тыняновым, в самом бытии.

Что касается более осторожного Б. М. Эйхенбаума, то он только относит Блока к какому-то пережитому и уже враждебному прошлому и высказывает туманные надежды на будущее. Я не знаю, что это за будущее. Может быть, в нем осуществится поэзия чистого слова; но и о ней я ничего не знаю. Зато я знаю стихи Блока и я знаю, что, сколько бы ни было неосновательных попыток сделать их историей, они все-таки останутся жизнью.

Нет, я не убежден. Я не убежден, что мои слезы сентиментальны, я не убежден, что моя печаль приготовлена заранее. Я не уверен даже, убеждены ли сами комментаторы этой печалью.

ли в чем-нибудь другом, кроме самостоятельной ценности своих теорий. Я понял бы еще, что можно предпочитать Блоку, скажем, Хлебникова, но я не понимаю, как можно предпочесть Блоку свои собственные слова. Ослепленные абстракциями, эти обязанные любить поэзию люди не только разучились относиться к Блоку, как он того заслуживает, они даже не сумели действительно отрицать его. И это неудивительно — для того чтобы бороться с Блоком, надо его пережить. Для того чтобы его пережить, надо быть самим живыми.

3

Блок умер. Подождем немного, помолчим. Но нет, как заведенные механизмы, мы уже строим наши схемы. Когда человек умер, станем хоть ненадолго только людьми. Но нет, мы спешим использовать наши профессиональные навыки. Мы еще не почувствовали, но мы уже пишем. Вот «искусство эмоциональное», и вот «искусство чистого слова». Вот «символизм», и вот другие «направления». Блок принадлежал к прошлому поколению; как бы нам не отстать от того, которое идет ему на смену. Торопитесь, господа. Ничего, что ваши суждения поспешны, ничего, что ваши мысли коротки. И хоть умер кто-то совсем настоящий — а настоящих так мало, — мы не будем горевать. Мы лучше положим на его могилу толстый томик солидного и коммерческого вида. В нем есть «внушительный труд» В. М. Жирмунского⁶, не пожелавшего оказаться слишком «поздним историком»⁷. В нем есть две статьи — о которых все время шла речь, — написанные не без умения и людьми, знающими свое дело. Я перечитываю их и за привычным книжным туманом уже не так остро чувствую смерть, которая меня мучила. Но я тем острее понимаю, что если даже она не сумела нас сделать живыми, то какого же другого названия мы заслуживаем, кроме имени мертвецов.

Не подлежит никакому сомнению, что Б. М. Эйхенбаум и Ю. Н. Тынянов — ныне здравствующие мои современники. Они живут в Петербурге, и я могу их завтра встретить на улице. Эта мысль внушает мне большое удивление.

*Петербург,
1 января 1922*

